

*Двучастные
рассказы*

1993 – 1998

Павел Васильевич Эктов ещё и раньше чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, — то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?

И многие культурные работники устыживались от этих упрёков и уязвлённо пытались оправдаться, что их работа «тоже полезна» для всемирного устройства человечества. Но Эктов всё более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущ-

ных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме — не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путём куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью.

Все виды кооперации Эктон знал и даже убеждённо их любил. Побывавши в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и объядённым сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем ссудосберегательной кооперации — и продолжал в войну. (Одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем брезгуя её острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта.) Вёл кооперацию и во весь революционный Семнадцатый год, — и только в январе Восемнадцатого, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, — настаивал, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады.

За то — непременно бы Эктова *посадили*, если бы точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки на разрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась Чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней. На главной площади близ того же монастыря как-то собрали они сразу пять возрастов призывников — тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, зарорал: «Товарищи! А что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем! так ступайте по домам! Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят? А-рас-сходись по домам!!» И — как полыхнуло по этим парням в серо-чёрной крестьянской одежке: от того окрика — по-сыпали, посыпали вразбеж-

ку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал — и уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе.

Годы Гражданской войны Эктон прожил в душевной потерянности: за жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевицкой диктатуры — потерялся смысл жизни и всей России и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла своё разумное привычное течение, деятельность разумных существ, — но, при большевиках, затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро-изобретательных ручейках. Однако убеждённому демократу Эктову никак не казалась выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе Девятнадцатого конница Мамонтова на два дня врывалась и в Тамбов, — за эти двое суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. (Да, впрочем, и видно было, что это — всего лишь короткий наскок.) Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков во все недолговечным: ну год-два-три — и свалятся, и Россия вернётся к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трёхлетней внешней войны и сразу же вослед Гражданской.

Тамбов, окружённый хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души — бытовой изворотливости. И крестьянский раздольный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов (отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам), продотрядов

и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух, в науку всей деревне. (Могли и с крыльца волостного правления запустить из пулемёта боевыми патронами очередь наугад.) А всегда и у всех отрядов начинался большой грабёж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя: «Давай барана! давай гусей! яиц, масла, молока, хлеба!» (А потом и — полотенца, простыни, сапоги.) Но и этим ещё рады были бы крестьяне отделаться, да только, отгуляв в деревне день-два, продотрядники стогнали понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, мёдом, холстами — на вывоз, в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. (В иной сельский магазин вдруг присылали шёлковые дамские чулки, или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина.) И так подгребали зерно по амбарам подряд — нередко не оставляли мужикам ни на едево, ни на семена. «Чёрными» звали их крестьяне — то ли от чёрта, то ль оттого, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слёз, страшный и для своих продотрядников. Не многим мягче его был и борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. (Достойными кличками власть окрещала и сама себя: ещё существовал и *начпогуб* Вейднер — даже Эктов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии.)

Отначала крестьяне поверить не могли: что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта, из запасных полков и из плена (там их

сильно обдeldывали большевицкой пропагандой), приезжали в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделата ради крестьян: крестьяне и есть главные хозяева на земле. А это что ж: городские насылают басурманов и обидят трудовое крестьянство? Свой хлеб не сеяли — на наше добро позарились? А Ленин говорил: кто не пахал, не сеял — тот пусть и не ест!

И потёк по деревням ещё и такой слух: произошла измена! Ленина в Кремле подменили!

Сердце Павла Васильевича, всю жизнь нераздельное с крестьянскими бедами, их жизненным смыслом и расчётливой бережливостью (в церковь — в сапогах, по селу — в лаптях, а пахать босиком), изболелось от этого безумного деревенского разорения: тамбовскую деревню большевики грабили напрокат догола (ещё ж дограблявал и каждый приезжий пустой ревизор или инструктор). Увидишь ли теперь прежнюю сытую мирную картину: вечерний медленный возврат добротного многосотенного скота в село, кой-где ребятишки с хворостинами, заворачивать своих, взвешенное стоячее облако прозрачной пыли в закатных лучах и скрип колодезных журавлей, предвестников пойки перед обильной дойкой? И на ночь теперь не засвечивались избынные окна: без дела стояли керосиновые лампы и еле светили внутри жирники — плоски из бараньего жира.

А между тем — гражданская война кончалась, и упущено было для тамбовских крестьян соединиться и с белыми. Однако и терпёж их уже перешёл через край, взбуривало народ. Осенью 1919 крестьяне убили предгубисполкома Чичканова во время его поездки по губернии. Ответ власти был — сильным карательным отрядом (венгры, латыши, финны, китайцы — кого только не было в карателях) и многими снова расстрелями.

Той ограбленной зимой крестьянский гнев ещё подбывал, копился. С весны, как стаяло, Павел Васильич поехал на телеге знакомого мужика запастись продуктами: из Каравайнова в хорошо знакомый ему угол, где сливаются Мокрая Панда и Сухая Панда, а дальше текут в Ворону. Знал он там Грушевку, Гвоздёвку, Трескино, Курган, Калугино. Грушевку — с её обильными сенокосами прямо на задах деревни, в июне всю в запахах мятлика, костера и клевера; Трескино с его странным храмом — трёхэтажным кубом, а барская церковь в Никитине облицована синне-коричневой плиткой, и крыша её под чешуйчатой выкладкой; Курган — с насыпным курганом татарских времён; и саблевидное Калугино с беспорядочно разбросанными куренями по голой балке Сухой Панды. А пойма извилистой Мокрой Панды — вся в густой траве, с боем перепелов, приволье ребятишек, рыболовов, гусей и уток, — хотя и ребятишкам там купанье по пояс, однако и коровы на дневную дойку вылезают из реки же. Лес большой там был — сразу за Грушевкой и Гвоздёвкой; да и близ Никитина, с его множеством садов, — несколько лесистых балок.

Ту весну мужики встречали в большой тревоге, и многие даже не хотели сеять: ведь всё уйдёт зазря, отымут? но и самим-то как без прокорма?

Ватажились в лесах и оврагах. Толковали, как себя защитить.

Но трудно крестьянам разных сёл — сговориться, соединиться, решиться, да ещё ж и выбрать момент, когда перейти черту большой войны.

А между тем гольдинские продотряды всё так же наваливались на сёла грабить, и всё так же сами пировали на стоянках. (А были случаи: велели подавать им на ночь заказанное число женщин — и подавало село, а куда денешься? легче, чем расстрелы.) И всё так же отряды из Губдезертира — расстреливали для

примера изловленных. (Призывали сразу три возраста — 18—20-летних. А вступающие в РКПб освобождались от общего призыва.)

И в августе Двадцатого само собою вспыхнуло в Каменке Тамбовского уезда: пришедший продотряд крестьяне перебили и взяли их оружие. И в тех же днях в Трескине: близ волостного правления продотряд созвал собрание активистов — вдруг побежала по улице сила мужиков с вилами, лопатами, топорами. Продотряд стал в них стрелять — но нахлынувшей волной порубали отрядников два десятка, ещё и нескольких жён коммунистов заодно. (Убили и маленького мальчика из толпы: он признал одного из повстанцев: «Дядя Петя, ты меня узнал?» — и тот убил, чтобы мальчик его потом не выдал.) А в Грушевке так озлобились за всё отымаемое — повалили продотрядчика и, как по бревну, перепилили ему шею пилой.

Трудно, трудно русских мужиков стронуть, но уж как попрёт народная опара — так и не удержать в пределах рассудка. Из Княже-Богородицкого, Тамбовского же уезда, освящённая порывом справедливости крестьянская толпа в лаптях — пошла «брать Тамбов» с топорами, кухонными рогачами, вилами — *вилыники*, как ходили в татарское время; потекли под колокольный звон попутных сёл, нарастая в пути, — и так шли к губернскому городу, пока в Кузьминой Гати их, беспомощных, не посекали пулёмётными заставами, остальных рассеяли.

И — как пожар по соломенным крышам — понеслось восстание по всему уезду сразу, захватив и Кирсановский и Борисоглебский: повсюду перебивали местных коммунистов (и бабы резали их, серпами), громили сельсоветы, разгоняли совхозы, коммуны. Уцелевшие коммунисты и активисты — бежали в Тамбов.

Коммунисты нахожие — понятно откуда приходили. Но откуда набрались местные? По разным сельским случаям Павел Васильич это осмыслил, да кой-кого он и раньше знал сам. При первых советских выборах волостных и сельских должностных лиц крестьяне ещё не разбирались, какая этим новым выпадет всеразмерная власть, им мнилось — ничтожная, ведь теперь для всех наступила *слобода*, и не выборы главное, а хватать помещичью землю. И какой порядочный мужик оторвётся от своего хозяйства, чтоб исправлять какую-то там должность по выбору? И потекли на те должности — крестьяне лишь по рождению, а не по труду, озорные, безшабашные, бездельники, голь, да кто с отрочества болтался чернорабочими при городах да на постройках, там успел лизнуть революционных лозунгов, да ещё все дезертиры с фронта Семнадцатого года, кто торопился на грабёж. Вот все эти — и стали сельские коммунисты, активисты, власть.

Павел Васильевич всем своим воспитанием и гуманистической традицией был всегда всей душой против всякого кровопролития. Но теперь, особенно после этого святого народного похода на Кузьмину Гать, соотношение бессильной правоты и неумолимого насилия проступило столь явно, что и правда же: не оставалось крестьянам ничего иного, как поднять оружие. (А много винтовок, патронов, шашек, гранат оставалось ещё, привезенных с германской войны и разбросанных после мамонтовского прорыва, — у кого спрятано, у кого закопано.)

И Эктов не увидел и для себя, народника, народолюбца, иного выхода, как идти туда же и в то же. Хотя: кончилась большая гражданская война — и какие надежды были теперь у мужицкого восстания? Но несомненно, что крестьяне будут лишены грамотного связного руководства. Пусть никакой не воен-

ный, лишь кооператор, да грамотный и смышлённый человек, — Эктов пригодится где-то там.

Но — жена, Полина, сердце моё неотрывное! и Мариночка, крошка пятилетняя, глазки васильковые! — как оставить вас? и — на какие испытания? на какие опасности? даже просто на голод? Вот оно, наше самое трепетное, — оно и высшее наше счастье, оно и наша слабость.

Полина — в острой тревоге, но и посылно крепясь, отпустила его: ты — прав. Да... прав... Иди.

И осталась она с дочуркой на их городской квартире, со скудными запасами провизии и дров на будущую зиму, — но и что-то же заработает, учительница.

А Павел Васильич уехал из Тамбова, отправился искать предполагаемый центр восстания.

И нашёл его — в передвижном состоянии — малую кучку вокруг Александра Степановича Антонова, по происхождению кирсановского мещанина, в 1905 году — эсера-экспроприатора (не закрыть глаз: значит, и вперемежку с уголовщиной?), в 1917 вернувшегося из сибирской ссылки, до большевицкого переворота начальника кирсановской милиции, потом набравшего много оружия разоружением чехословацких эшелонов, проходивших через Кирсанов, — и уже летом 1919 с небольшой дружиной перебивал налётами местные комьячейки там и здесь — когда сама партия эсеров всё никак не решалась сопротивляться большевикам, чтобы этим не помочь белым. Действовал Антонов и теперь не от эсеров, а от самого себя. Губчека ловила его всю зиму с 19-го года на 20-й — и не поймала. Антонов не кончил и уездного училища, образование никакое, но — отчаянный, решительный и смекалистый.

В нарождающемся штабе Антонова, который и штабом назвать ещё было нельзя, — не состояло даже

хоть одного офицера со штабным опытом. Был местный самородок, из крестьян села Иноковки 1-й, Пётр Михайлович Токмаков: унтер царской армии, он на германском фронте выслужился в прапорщики, затем и в подпоручики, и вояка был превосходный, но всего три класса церковно-приходской. Ещё был боевой и буйный прапорщик, тоже из унтеров, распирающей энергии, Терентий Чернега, — в Семнадцатом примкнувший к большевикам, два года служил им, даже и в ЧОНе, а всего насмотрясь — перешёл на крестьянскую сторону. И ещё был унтер, артиллерист, Арсений Благодарёв, — из той самой Каменки, где всё началось, он и был из начинающих. Все эти трое дальше получили в командование по партизанскому полку, Токмаков потом — бригаду из четырёх полков, — но ни один же из них и близко не был способен к штабной работе. И адъютантом Антонова был вовсе не военный, а учитель Старых из Калугина на Сухой Панде.

И когда Эктов представился Антонову — так и пришёлся он пока самый подходящий «начальник штаба»: лишь бы грамотный сообразительный человек да умел бы топографическую карту читать. Спросил Антонов фамилию. Странно, но Эктов не запасся. Уже начал: «Эк...», и тут же прохватило: нельзя называть! И горло само перешло на:

— а... га...

Антонову слышалось:

— Эгов?

А что? Псевдоним, и неплохой. Ответил уже чётко:

— Эго. Пусть так.

Ну, так и так, Антонов и не допытывался.

И скоро все его знали как «Эго», тоже Павел, только Тимофеевич. И вскоре признали за ним авторитет «начальника штаба» (сам себе удивлялся), впрочем, он только чуть и связывал, соединял их об-

щие дела, — а и сам Антонов и его партизанские начальники чаще вели отряды своим порывом, никого не спрашивая, да и по внезапности обстоятельств.

Тамбовский уезд не так-то был и удобен для партизанской войны: как и бóльшая часть губернии — малолесен, равнина, небольшие холмы, правда много глубоких балок и оврагов («яруг»), дающих и коннице укрытие от степного прозора. И сеть просёлков с наезженной колеёй, да скакала конница и поперёк поля.

А что это была за конница! Стремена — верёвочные, вместо сёдел у большинства — подушки (и на ходу ввётся пух из-под всадника...). Кто в солдатской одежке, а кто в крестьянской (на шапке — красная ленточка наискось: они — за революцию, тоже красные! и обращение, когда не по деревенским кличкам: «товарищ»). Зато — повстанцы всегда на свежих конях, беспрепятственно меняют их у крестьян (хоть и не без крестьянской обиды: *наши*-то ребята наши, так ведь и лошадь *моя*...). Понасобирали берданок, двустволок, винтовочных обрезов (их легче прятать, а меткость вблизи не намного меньше), трофейных с войн Гра и Манлихеров. Начинали — с по пять патронов к винтовке, потом отбивали у продотрядов, у чоновцев, и даже захватывали целые оружейные склады, а раз была и такая смелая антоновская операция: захватили у красных целый поездной эшелон боеприпасов, в поспешке развезли телегами по деревням, подальше прочь от *железки*, которой лишнего часа не удержишь.

Впрочем, из-за многолюдства повстанцев, всё равно сильно не хватало оружия, даже и шашек, — и по набату всё ещё бежали из деревень с вилами. (Был и такой сигнал у повстанцев: при появлении большевицкого отряда — останавливаются в том селе мельничные крылья, либо — с другого конца села тут же ускакивает вестовой, оповещать соседей.)

Радость успешных набегов, да и успешных уходов — взбадривала и изумляла Эктова: и как же это всё удаётся? ведь прямо — из ничего!

Так и жили — сперва недели, потом и месяцы: днём работали как крестьяне, а при тревоге и просто с вечера — садились на коня и в набег. Через буераки гонялись отряды друг за другом, и те и эти. При разгроме — повстанцы разлетались, прятали оружие, и не у себя во дворах, а по яругам.

...После пролёта боя лежит убитый, головой в ручье. А лошадь — печально стоит, часы, возле мёртвого хозяина... А по травам перескакивает трясогузка...

Любимое место укрытия антоновской конницы было — низменность по реке Вороне. Там — и поляны в просторном кольце как бы расставленных дубов, вязов, осин, ив. Измученные верховики сваливались полежать на полянах, заросших мятликом да конским щавелем, и лошади тут же щиплют, медленно перебраживая. К тем местам — заброшенные полудороги, а дальше — непродорная урёма — низкое густое переплетенное лесокустье, высоченная трава, в ней и гадюки двухаршинные с чёрно-насеченной спиной. (Одно из самых недоступных мест так и зовётся — Змеиное болото.)

В сентябре вспыхнуло восстание и в Пахотном Углу, много северней Тамбова, к Моршанску: там сколотили коммунисты год назад «образцовую коммуну» — а теперь те образумленные коммунисты стали отдельной, но крепкой группировкой повстанцев.

Так множились повстанцы, что, осмелев, в начале октября пошли атаковать с юга Каменку, выручать её от ставшего там красного гарнизона. Те ответили пушками и в контратаку кроме конницы послали и пехоту. Повстанцы спешили и — в первый и единственный раз — вырыли окопы, привычное дело с войны, но то для них была ошибка: не выдержали ре-

гулярного двухсуточного боя, бросили окопы, отступили к Туголукову, изобильному лошадьми, — и из Туголукова много крестьян, сев на лошадь и добавив ещё заводную, уходили вместе с *партизантами*.

Район восстания был опасно охвачен треугольником железных дорог Тамбов—Балашов—Ртищево, и постоянные гарнизоны стояли на крупных станциях. Эти пути надо было портить при каждом случае. И несколько раз антоновцы, налетов, местами разбировали пути, лошадиной тягой гнули рельсы в дугу.

Зато железнодорожные служащие, особенно телефонисты и телеграфисты, в массе своей сочувствовали повстанцам, и иные задерживали в передаче распоряжения красных, или теряли, искажали, а то и передавали партизанам — и большевики не могли надёжно использовать свои линии связи. А железнодорожники ртищевского узла даже избрали делегацию к повстанцам, на поддержку, но чекисты успели арестовать делегатов, а на всё Ртищево объявили чрезвычайное положение.

Повстанцев становилось всё больше — и один за другим формировались партизанские *полки*, по полторы и по две тысячи человек, уже переваливало число полков за десяток, у полков появились и свои знамёна и пулемёты — Максима и Льюиса. Командирами становились и бывшие унтеры и ефрейторы, с опытом германской войны, и просто крестьяне от сохи. И смыслёно же командовали.

В ноябре Антонов с главными силами пошёл и на сам Тамбов, вызвав большой переполюх у тамбовских властей (те пилили-валили вековые дубы на завалы дорог к городу, расставляли пулемёты на городских колокольнях). Эктов верить не мог: неужели, вот, хоть на короткий час и сам туда, и выхватит, увезёт семью?.. (До Сердобска бы довёз, а там у Полины двоюродная сестра, у неё б и прикрылась.)

Нет, в двадцати верстах от Тамбова, в Подоскле-Рожественском, после крупного боя, пришлось повстанцам отступить.

Вандея? Но отметная была разница: наше православное духовенство, не от мира сего, не сливалось с повстанцами, не вдохновляло их, как боевое католическое, а осторожно сидело по приходам, по своим домам, хотя и знали: красные придут — всё равно могут голову размозжить. (Как в Каменке попа Михаила Молчанова застрелили ни за что на ступеньках своего дома.)

Вандея? Иногда и не без насилия: приходил красноармеец в отпуск в свою деревню, а у него односельчане уничтожали документы — и куда ему после того деваться? выхода нет, как в партизаны. И из отряда партизанского уж и вовсе не уйти, хоть и задумал бы: свои ж не дадут жить в селе с семьёй. Или какая баба замечена, что проболтала красным о передвижениях повстанцев, — секли её по голому задку прилюдно, на площади перед церковью.

Тамбовским мирным мужикам теперь гроза была со всех сторон: что не так сделаешь — отомстят потом хоть красные, хоть повстанцы. Боятся и с иными соседями просказываться. Один раз, в общем валу, ходил *вильником* за десять вёрст, пойман, а хоть и отпущен — вперёд уже навек виноват перед властями.

Стук в дверь: «Кто там?» — «Свои». Чтоб не попасться, на всяк случай: «Все вы, черти, свои, да житья от вас нет».

Одну бабу допрашивали красные, где её сын. Отреклаась: «Нет у меня никакого сына!» А потом его поймали, он назвался: сын такой-то. И его расстреляли: мол, врёт.

В это мужицкое положение ставил Павел Васильич не раз и себя. Извечная радость человека и извеч-

ная его уязвимость: семья! У кого вместо сердца подкова железная, чтоб не дрогнуть за своих родных, что затерзают их эти чёртовы когти?

А бывало и такое: растрепали в деревне продотряд, двое из них — китаец и финн — спрятались на задах у деда. Китайца заметили, подстрелили, а финна дед пожалел и, головой рискуя, спрятал в сноп, а ночью выпустил — и тот дал дёру, к своему гарнизону, в Чокино. (Для следующей экспедиции?..)

Вандея? Эсеры Тамбовской губернии заколебались: и нельзя поддерживать восстание против революции, и возглавить это восстание было упущено, за ними уже не пойдут. Но и: теперь, когда кончилась Гражданская война, как не использовать народный напор против коммунистов? Пристраивались к возникшим «союзам трудового крестьянства» и писать листовки, и приписать всё восстание эсеровской партии.

Да у повстанцев уже свои были лозунги: «Долой Советы!» (никак не эсеровский, эсеры — за Советы); «Не платим развёрстки!»; «Да здравствуют дезертиры Красной армии!».

У Эктова оказалась пишущая машинка, захваченная в исполкоме, так он и сам сочинял и усердно печатал прокламации: «Мобилизованные красноармейцы! Мы — не бандиты! мы такие же крестьяне, как вы. Но нас заставили бросить мирный труд и послали на своих братьев. А разве ваши семейства не в таких же условиях, как наши? Всё убито Советами, на каждом шагу озверелые коммунисты отбирают последнее зерно и расстреливают людей ни за что. Раскалывают наши головы как горшки, ломают кости — и на том обещают построить новый мир? Сбрасывайте с себя коммунистическое ярмо и идите домой с оружием в руках! Да здравствует Учредительное Собрание! Да здравствуют союзы трудового крестьянства!»

Да повстанцы и сами, кто горазд, выписывали чернильными карандашами на случайных листках бумаги: «Довольно слушать нахалов коммунистов, паразитов трудового народа!» — «Мы пришли крикнуть вам, что власть обидчиков и грабителей быть не должна!» И к нерешительным: «Мужики! У вас забирают хлеб, скотину, а вы всё спите?»

Коммунисты отвечали большим тиражом типографских листовок со своей обычной классовой долдонщиной или сатирическими картинками: Антонов в кровавой шапке с кровавым ножом, а на груди, в виде орденов, — Врангель и Керенский. «Мы, Антонов Первый, Поджигатель и Разрушитель Тамбовский, Самодержец Всеворовской и Всебандитский...»

Это стряпал завагитпропа губкома Эйдман, никогда его тут, в Тамбове, не слышали прежде. А в грозных распоряжениях чаще всего мелькали подписи секретарей губкома Пинсона, Мещерякова, Райвида, Мейера, предгубисполкома то Загузова, то Шлихтера, предгубчека Трасковича, начальника политотдела Галузо — и этих тоже Тамбов не знал никогда, и эти тоже были пришлые. А в составе их губ-губ властей мелькали и другие, кто не подписывал грозных приказов, но решали-то все вместе: Смоленский, Зарин, Немцов, Лопато и даже женщины — Коллегаева, Шестакова... И об этих тоже Эктвов не слышал прежде, только один среди них был точно местный, всеизвестный оголтелый большевик Васильев, прохулиганивший в городе весь Семнадцатый год, свистевший и топавший даже на чинных собраниях в Нарышкинской читальне. Об остальных не слыхивал Эктвов, а ведь свора эта была — не из той же ли оппозиционной интеллигенции, что и он сам? и несколько лет назад, до революции, встретились бы где-нибудь — он пожимал бы им руки?..

Но пропаганда пропагандой, а большевики подтягивали силы. Установила антоновская разведка, что прибыл из Москвы полк Особого назначения ВЧК, ещё эскадрон от тульской ЧК, ещё 250 сабель из Казани, до сотни из Саратова. Ещё пришёл из Козлова «коммунистический отряд» и два таких отобилизовались в Тамбове. Ещё появился у них и «автобоевой отряд имени Свердлова» и отдельный железнодорожный батальон. (Рискованную разведку вели и верная баба с махоткой молока, и надёжный мужик с возом дров в город. Через одну такую бабу раз послал Павел Васильич устную весточку о себе Полине — и в ответ узнал, что — целы, не раскрыты чекой, скудно живут, но надеются...)

Отделавшись от страха за целость самого Тамбова, красные вожди свои нарощенные силы стали равномерно расквартировывать по всем трём мятежным уездам, особенно по Тамбовскому, — планово оккупировать их. (В большом десяти тысячном селе взяли 80 заложников и объявили жителям: за несдачу селом огнестрельного оружия к следующему полудню — все эти 80 будут расстреляны. Угроза была слишком непомерна, село не поверило, никто ничего не сдал — и в следующий полдень на виду у села все восемьдесят были расстреляны!)

Стали и летать большевицкие самолёты (были и хвастливо выкрашенные в красный цвет), наблюдать, иногда и сбрасывать бомбы, что сильно пугало селян.

Осенью, избегая наседающего преследования, Антонов временно уводил свои главные силы то в Саратовскую губернию, то в Пензенскую. (А саратовские крестьяне, мстя за забранных или сменных лошадей, стали и сами ловить тамбовских повстанцев и справляться самосудом. Судьба крестьянских восстаний...)

Вместе с главным штабом и Это был в этих рейдах, и уже привык к такой жизни, конной, бродячей, бездомной, на холодах и в тревоге, в уходах от погони. Стал военным человеком? — нет, не стал, трудно было ему, никогда к такому не готовился. А — надо терпеть. Разделял крестьянскую боль — и тем насыщалась душа: он — на месте. (А не пришёл бы сюда — дрожал бы в норке в Тамбове, презирал бы себя.)

А мятежный край не утихал! Хотя поздней осенью и к зиме партизанам стало намного трудней скрываться и ночевать — а полки партизанские росли в числе. Поборы, собираемые красными отрядами, откровенный грабёж, когда делили отобранное крестьянское имущество — тут же, на глазах крестьян, избивали стариков, а то и сжигали деревни начисто, как Афанасьевку, Бабино, и это к зиме, выгоняя и старых и малых на снег, — поддавало новый заряд повстанческому сопротивлению. (Но и повстанцам же где-то питаться. Раньше брали у семей советского актива, потом и у семей красноармейцев, а дальше, не хватало, — уже и у крестьян подряд. Кто давал понимаючи, а кто и обозлевался.)

К середине зимы уже сформировалось две партизанских Армии, каждая по десятку полков, 1-й армией командовал Токмаков, 2-й — сам Антонов. В штабах армий появились уже и настоящие военные, наводившие порядок, начиная с формы: рядовым установили красные нашивки на левом рукаве выше локтя, командирам добавлялась ленточка, нашитые треугольники вершиной вниз или вверх, а с командиров бригад — ромбы. Командный состав избирался на полковых собраниях (и ещё — политкомы, и ещё — полковой суд). Издавали и приказы: полный запрет устраивать в деревнях конфискации одежды, вещей и обыски на поиск продуктов; не разрешать партизанам слишком часто менять своих лошадей у

крестьян, только по решению фельдшера, а — получше следить за лошадей своей; и, как в настоящей армии, вводили партизанам чередность отпусков — но и своя милиция в сёлах проверяет документ, по какому партизан приехал.

Зимой взаимное озлобление только ещё распалилось. Красные отряды расстреливали и уличённых, и подозреваемых, стреляли безо всякого следствия и суда. У карателей выявился разряд людей, уже настолько привыкших к крови, что рука у них подымалась, как муху смахнуть, и револьвер сам стрелял. Партизаны, бережа патроны, больше рубили захваченных, убивали тяжёлым в голову, комиссаров — вешали.

И до того доходило разъярение мести с обеих сторон, что и глаза выкалывали захваченному, прежде чем убить.

Из ограбленных сёл ребятишки с салазками ездили за битой кониной. Этой зимой развелось много обнаглевших волков. И собаки тоже ели трупы, разбросанные по степи и по балкам, и разрывали мелко закопанных.

Разъезжала по оккупированным сёлам выездная сессия Губчека — Рамошат, Ракуц и Шаров, сыпали расстрельные приговоры, а подозреваемых, но никак не пойманных на повстанчестве, стали ссылать в «концентрационные лагеря». В январе антоновский штаб сведал секретное письмо: тамбовская Губчека получила от центрального управления лагерей Республики дополнительно 5 тысяч мест в лагерях для своих задержанных. А с бабами и девками, уведёнными в ближние концлагеря, охрана с кем развратничала, кого насилвала, слухом полнилась земля.

Сёла скудели. Даже в богатенной когда-то Каменке осталось с два десятка лошадей. Ко рваным башмакам люди ладили деревянные подошвы, бабы ходили по морозу без чулок. И заведёт кто-нибудь: «А при

царе поедешь на базар — покупай, что по душе: сапоги, ситцу, кренделёв». Только бумага нашлась на курево: из помещичьих книг да из красных уголков.

Со старым-престарым дедом из хутора Семёновского Этков горевал, как гинет всё. Казалось — жизнь уже доходит до последнего конца, и после этого какая ещё останется?

— Ништо, — сказал серебряный дед. — Из-под косы трава да и то уцелевает.

А достали-таки тамбовские крестьяне до Кремля! В середине февраля стали объявлять, что в Тамбовской губернии хлебная развёрстка прекращается.

Никто не поверил.

Тогда напечатали в газетах, что Ленин вдруг «принял делегацию тамбовских крестьян». (В самом ли деле? Позже стало в антоновском штабе известно: да, несколько мужиков, сидевших в тамбовской ЧК, запуганных, доставляли в московский Кремль.)

Большевики, видно, торопились кончить восстание к весне, чтобы люди сеяли (а осенью — опять отбирать).

Но ярость боёв уже не унималась. И в марте, двумя полками, антоновцы налетели на укреплённое фабричное село Рассказово, под самым Тамбовом, разгромили гарнизон и целый советский батальон взяли в плен. И половина из них охотой пошла в *партизанты*.

Павел Васильич с осени не верил, не надеялся, что в таких передрыгах вытянет, перезимует. Но вот — дотерпел, дожил и до марта. И даже настолько признали уже его военным человеком, что сделали помощником командира полка Особого назначения при штабе 1-й армии.

И ещё успел он прочесть два мартовских приказа звереющих карателей: «Обязать всех жителей каждого села круговой порукой, что если кто из села будет

оказывать какую-либо помощь бандитам, то отвечать за это будут все жители этого села», а «бандитов ловить и уничтожать как хищных зверей». И — наивысшим доводом: «всё здоровое мужское население от 17 до 50 лет арестовывать и заключать в концентрационные лагеря!» А прямо к повстанцам: «Помните: ваши списки большей частью уже в руках Чека. Явитесь добровольно с оружием — и будете прощены».

Но ни калёной прокаткой, ни уговором — уже не брались повстанцы, в затравленных метаньях по заснеженным морозным оврагам и перелескам. И уже вот-вот манила весна — а там-то нас и вовсе не возьмёшь!

И тут, в марте, уже перенеся зиму, Эктов сильно простудился, занемог, должен был отстать от полка, лечь в селе, в тепле.

И — на вторую же ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы.

Схвачен.

Но — не расстрелян на месте, хотя уже знали его роль при токмаковском штабе.

А — повезли в Тамбов.

Город имел вид военного лагеря. Многие дома заключены. Нечищенный грязный снег на панелях. (Свой домик — на боковой улице, не видел.)

И — дальше, через Тамбов. Посадили в зарешеченный вагон, в Москву.

Только не на свиданье с Лениным.

2

Сидел в лубянской тюрьме ВЧК, в полуподвале, в одиночке, малое квадратное окошко в уровень тюремного двора.

Отначала видел главное испытание в том, чтобы себя *не назвать*, — да то самое испытание, какое нависло и над каждым вторым тамбовским крестьянином, да с тем же и выбором: назвал себя — погиб. А не назвал — погиб же, только другим родом.

Придумал себе биографию — тоже кооператора, только из Забайкалья, из тех мест, которые знал. Может, по нынешнему времени проверить им трудно.

На допросы водили его тремя этажами вверх, в один и тот же всегда кабинет с двумя крупными высокими окнами, старой дорогой мебелью Страхового общества и плохоньким бумажным портретом Ленина в богатой раме на стене над головой следователя. Но следователи — сменялись, трое.

Один, Марагаев, кавказского вида, допрашивал только ночами, спать не давал. Допрашивал ненаходчиво, но кричал, вытворялся, бил по лицу и по телу, оставляя синячные ушибы.

Другой, Обоянский, всем нежным видом выдавая голубую кровь, — не так допрашивал, как вселял в подсудимого безнадежность, даже будто бы становясь с ним сочувственно на одну сторону: *они* всё равно победят, да уже везде победили, Тамбовская губерния осталась последняя; против *них* никто не может устоять и в России и в целом мире, это — сила, какой человечество ещё не встречало; и благоразумнее сдаться им, прежде чем они будут карать. А может быть — смягчат участь.

А третий — пухлощёкий, черноволосый, весело подвижный Либин никогда не дотронулся до подсудимого и пальцем, и не кричал, но всегда говорил с бодрой победной уверенностью, да видно, что и не наигранной. И домогался пробудить в подсудимом демократическую совесть: как же он мог изменить светлomu идеалу интеллигенции? как же может

демократ стоять против неумолимого хода истории, пусть и отягчённого жестокостями?

Этих жестокостей Этков мог поведать следователю больше, чем тот и представлял. Мог бы, но не смел. Да не ту линию он и избрал: вот на этом-то и стоять: что — демократ, народник, что тронула сердце пронзительная крестьянская беда, а белогвардейщиной тут и не веет. (Да ведь — и правда так.)

А Либин — как будто по той же *освободительной* линии и вёл навстречу:

— В будущие школьные хрестоматии войдёт не один эпизод героизма красных войск и коммунистов, давивших этот кулацкий мятеж. Момент борьбы с кулачеством займёт почётное место в советской истории.

Спорить было безнадежно, да и к чему? Главное: узнают ли, *кто* он. Это хорошо, что увезли в Москву, в Тамбове легче бы его узнали, пропуская через свидетелей. Одно только ныло предчувствием: сфотографировали его в фас и в профиль. Могли фотокарточку размножить, разослать в Тамбов, Кирсанов, Борисоглебск. Хотя и: за полгода боевой жизни Этков так изменился, посуровел, пожесточел, и в ветрогаре, — сам себя не узнавал в зеркало в избах, впрочем и зеркала там плохонькие.

Пока не вызнали — *кто*, семья была в безопасности. А самого — что ж, пусть и стреляют: за эти месяцы безщадной войны Павел Васильич давно обвыкся с мыслью о смерти, да и попадал уже на волосок от неё.

Да его запросто могли расстрелять и при взятии — непонятно, зачем уж так им надо было его опознать? зачем везли в Москву? зачем столько времени надо было тратить на переубеждения?

А недели текли — голодные, скудная похлёбка, крохотка хлеба. Бельё без смены, тело чесалось, стирал как мог в редкие бани.

Из одиночки соединяли и в камеру — сперва с одним, потом с другим. По соседству не обойтись без расспросов: а кто вы сами? а как попали в восстание? а что там делали? Отвечать — нельзя, и совсем не ответить нельзя. А оба — мутные типы, сердце-вещун узнаёт. Что-то плёл.

Прошёл апрель — не узнали!

Но — ещё раз сфотографировали.

Клещи.

Опять в одиночку, в подвал.

Потёк и май.

Тянулись и дни, но ещё мучительней — ночи: в ночи, плашмя, ослабляется человек и его жизненная сила сопротивления. Кажется: ещё немного — и сил уже не собрать.

И Обоянский кивал с измученной улыбкой:

— Не устоять никому. Это проснулось и пришло к нам могучее невиданное племя. Поймите.

А Либин оживленно рассказывал о военных красных успехах: и сколько войск нагнали в Тамбовскую губернию, и даже — *тут* не секрет и сказать — каких именно. И курсантов из нескольких военных училищ расположили по тамбовским сёлам для усиления оккупации.

Да — разбиты уже антоновцы! Разбиты, теперь добивают отдельные кучки. Уже сами приходят в красные штабы гурьбами и приносят винтовки. И ещё помогают находить и разоружать других. Да один полк бандитов — полностью перешёл на красную сторону.

— Какой? — вырвалось.

Либин с готовностью и отчётливо:

— 14-й Архангельский 5-й Токайской бригады.

Здóрово знали.

Но ещё проверь — так ли?..

Да приносил на допросы в подтверждение тамбовские газеты.

СОДЕРЖАНИЕ

ДВУЧАСТНЫЕ РАССКАЗЫ. 1993—1998	5
ЭГО	7
НА КРАЯХ	42
МОЛОДНЯК	93
НАСТЕНЬКА	107
АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ	142
ВСЁ РАВНО	161
НА ИЗЛОМАХ	185
ЖЕЛЯБУТСКИЕ ВЫСЕЛКИ	236
АДЛИГ ШВЕНКИТГЕН	
Односуточная повесть	291
КРОХОТКИ. 1996—1999	345
ЛИСТВЕННИЦА	347
МОЛНИЯ	348
КОЛОКОЛ УГЛИЧА	349
КОЛОКОЛЬНЯ	351
СТАРЕНИЕ	353
ПОЗОР	355
ЛИХОЕ ЗЕЛЬЕ	357
УТРО	358
ЗАВЕСА	359
В СУМЕРКИ	360
ПЕТУШЬЕ ПЕНЬЕ	361
НОЧНЫЕ МЫСЛИ	362
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ	363
МОЛИТВА О РОССИИ	364
КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ	365

Литературно-художественное издание
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН
АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ

Рассказы 90-х годов

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Алексея Соколова
Корректор Ксения Зобова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 31.07.2018. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 16,2. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.oaompk.ru, www.oaompk.rf

Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AKB-16568-04-R